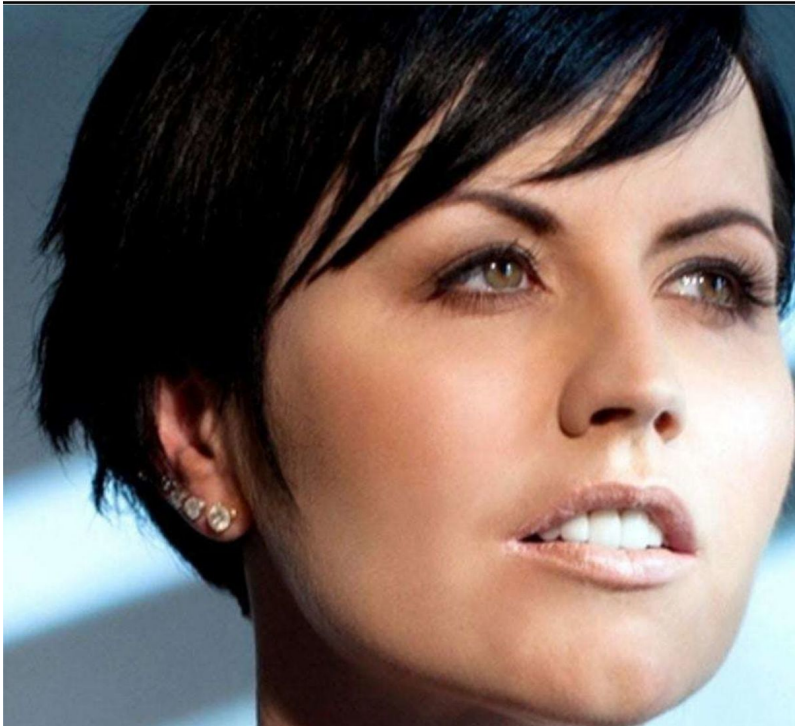


Кирилл Баянов

Часы из ореха



Кирым Баянов

Часы из ореха

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39439770

ISBN 9785449385314

Аннотация

«Часы из Ореха» – произведение, посвященное известной исполнительнице, солистке группы «The Cranberries» Долорес О'Риордан.

Содержание

Часть I	5
Блюз Нарита	5
Васаби	51
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Часы из ореха

Кирим Баянов

*In memory of Dolores O'Riordan
(6 Sep. 1971 – 15 Jan. 2018)*

© Кирим Баянов, 2019

ISBN 978-5-4493-8531-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть I

Хищные вещи

Блюз Нарита

Меня зовут Дейвид, Дейви. Просто Дейви, или Дейв. Все началось немало около года назад. Было жаркое лето, я возвращался в штаты. В небольшой городок на восточном побережье Орегона.

У меня нет такой работы, которая бы привязывала меня к месту, я занимаюсь тюнингом машин. Не тем что, изображено в журналах и снято в роликах Puble States: никаких ярких расцветок, азота, неона и пустой мешанины разбавленных в розовый цвет авто. Я занимаюсь классикой. Сначала покупаю авто, перебираю «начинку»; что-то заменяю, что-то убираю, закрасиваю маркировку, – шучу. Провожу апдейтинг салона: подбираю цвет, вырезаю панели и навожу красоту; меняю замки, лак и стекло, ставлю инжекторы автотопдъема. Все, как всегда. Никакой абстракции. Сплошной модерн. Ну а потом догадайтесь что, – продаю всю эту красоту втридорога.

Не все, конечно, было так безоблачно и славно. Поначалу я возился со старыми корветами и порше. Но позже мне по-

счастливилось сделать серьезный прорыв в своем, – бизнесе я бы сказал, но побоюсь этого слова, скорее творчестве, – наверное, так будет скромнее. Я перешел на последние модели новых марок. Это было куда приятнее, чем возиться целый день в капоте Линкольна или старого мерседеса, намереваясь перебрать его замусоренный и перепачканный смазкой движок, отмываться потом вторую половину дня от масла и вонять бензином.

Ей богу, вы не понимаете, о чем я говорю, если не пытались лежать под Кадилаком четыре часа к ряду, нуждаясь в том, чтобы заменить шланг поступления тормозной жидкости в напрочь отработанный бак и только потом обнаружить, что тот напрочь прогнил.

Я езжу налегке. Это мой конек. Его зовут Карл. У него низкая посадка и длинный руль, как у всех моделей с утяжеленным задом. Две трубы, – чтобы вы знали, – на колесах, и полтора литровый бензобак. Не терплю новых штучек, – зачем ему двойной? Мне вполне хватает двух литров из кофров. От растрескавшейся на солнце коже, которой я их накрываю, тянет дермой и блестит юфта. Это придает ему особенный шарм.

У Карла в основном все хромированное и лишь кое-что покрыто черной краской. Никаких рисунков, ничего лишнего. Ничего, чтобы бросалось в глаза. Он почти, что ковбойская лошадь. Такой, что вы можете приобрести на любой автоколонке за пол цены. Я поставил ему руль от Харлея и жду

новых труб. Мальборо моя любимая марка.

Благо, что теперь я могу себе это позволить. Но не думаю, что это к лучшему.

Путь мой лежал из Германии в штаты. Там я слил два перwokлассных линкольна и один Астон Мартин какому-то толстосуму. Старику очень понравилась моя работа, и он выложил круглую сумму.

Почему я полетел? Деньги лишь отговорка для самого себя. Причин было много. Может просто из-за того, что жизнь моя стало серее некуда. Мне хотелось что-то в ней поменять. Но самое важное – это Эни. Я пытался ее забыть и замазать красками, как прогнивший бензобак. Отели сменяли один другой и бесцельная езда от одного штата до другого, по дорогам обкатанного асфальта мелькает закусочными. Магазичиками и быстро у автостоянок, ночными огнями.

Кипящие хайвэй, в одиноких развязках и напряженных пробками авто, мелькают вывесками бигбордов, покрытых ртутью мостовых и бурбоновом мареве фонарей.

Бирмингем. Алабама. Дешевые мотели и море выпивки с видом на море в Норфолке, – из окна последнего бара, пропахшего потом, звенящей какофонией смеха, гомоном, разбросанном в сигаретном дыме. Не люблю больших городов. Мне нравятся маленькие, – без опознавательных знаков, вывесок, без топонимики. Такие, в которых подают вареный картофель вместо фри и тушеную курицу. И даже хот-дог, будь он четырежды проклят массмедиа, становится аппетит-

ным, когда его приобретаешь за пятьдесят семь центов и знаешь, что если тебя надуют, то лишь из-за удовольствия посмотреть на реакцию.

Я помню Америку совсем другой, по старым фильмам, где она распевала трещащим радио на полке бара, словно тайландский паркет, с музыкальными автоматами и черной коробкой пинбола.

– Худышки выходят из моды, – говорит телеведущий с экрана над стойкой, куда смотрит мой сосед. – Скоро на смену им придут пышногрудые красавицы с мягкими округлыми бедрами и тонкой талией. «Фигура а-ля мальчик, без груди и попы, без мягкого перехода от талии к бедрам – прошлый век...

А я так не думаю. Мне нравится стиль милитари и унисекс.

Конечно не на себе.

Я люблю какой-нибудь старый прошедший все мыслимые сроки пласт в культуре: кеды из семи кругов ада, футболку а-ля шальвар-камиз, широкие свисающие штаны. С низким поясом.

– Новый век требует новых модниц. Времена милитари и унисекса безвозвратно прошли, короткие стрижки – лишь для тех, кому лень ухаживать за длинными волосами». Одежда станет более широкой, со множеством оборок, рюшей, лент, пышных элементов. А для таких нарядов нужны формы.

Я смотрю, доедая свой сэндвич и не нахожу никаких отличий в этом диком городке с выселками в Техасе. Дело даже не в том, что одежда ведущего и его сплошной черный галстук с розовыми вставками не возвращает мои мысли к архетипам или культуре принадлежащей этой стране. Дело в чем-то другом. Впрочем, возможно это мои личные переживания.

– Что же касается волос, то из моды уйдет пестрота, ей на смену придут классические блондинки, – продолжал расхваливать будущие веяния чернокожий бирменгемец, поминутно ссылаясь на Луи Бертрана.

Я заплатил, подойдя к толстому владельцу, сунув ему пачку банкнот, не пересчитывая, – за ночлег и сегодняшний ужин.

– ...или брюнетки. Цвет волос – натуральный. Ничего яркого и футуристического. Скандально яркие краски будут позволены только для макияжа глаз и губ...

Я не езжу быстро.

Не то, чтобы я тащился как черепаха, но и не лихачу. На поворотах я всегда прибавляю газу. Но так делают все. Разве нет?

Мне нравится пологие скаты и одинокие, безлюдные дороги. Хотя в хайвэях есть свое очарование. Теперь после каждой бутылки в пабе мне мерещатся ночные огни Хэмптон-Родс в Портсмуте. Пиво и полуосвященные автострады.

Теперь это уже неважно: Мемфис, Сент-Луис, Индиана-

полис, Чикаго, Де-Мойн, Омаха. Великие равнины.

В Монгомери я опоздал на концерт, а в Атланте не обнаружил ее дома.

Мейкон не запомнился мне ничем и от него до Джэксонвилля я ехал триста тридцать километров. Если я сбился со счета, – поправьте меня. Знаете, в этой карте, которую я купил на углу очередного мотеля, чересчур сбивчивые мили. А я привык к километрам.

Покопавшись хорошенько в ДжиПС картах, вы можете отыскать кучу городков, которое пропускает масштабность. Данвилл, Мотроз, Ренц, Аламо, Хейзл Херст, – ей нравилось отдыхать в этом тихом городке, как и мне. Она не любила большие, шумные города с копошащейся в них кучей народа и переполненные хайвэй. Но в них имеется своя красота. Кажется, я повторяюсь. Паттерсон, Хобокен, Хомленд, Хиллиард, Каллахан, Линколльн, Виллас, – все они пролетели так же, как и Мейкон, оставив в памяти лишь нагар флуоресцентных лампочек и жирный пряный запах еды при желто-коричневом свете. Я не обедаю. Встаю поздно. А потому мне запоминались мотели в основном ночью. Когда спадала жара и воцарялась черно-желтая полоса заходящего солнца. Бьющиеся мотыльки о неоновые огни косо-криво поставленных вывесок, подмигивающих черно-синим небом в лужах со звездами.

Иногда тут идет дождь. Я попал один раз под него, – глотал чай и кофе и все время думал об Эни.

Я много курю. Так нельзя, – сказал я себе и продолжал тыкать окурками в пепельницу, пригубливая несладкий чай. Потом вышел на автостоянку и зашел внутрь круглосуточной Мэри-Кей. Мне нужен был чай с лимоном.

Сладкий и кислый запах освежал мою память и не давал впасть в фрустрации, когда моим излюбленным коньком вдруг оказывались воспоминания.

Я ехал уже по Нью-Кингс Роудс, когда понял, что у меня нет цели.

Но я отчего-то твердо знал, что моим конечным пунктом будет не что иное как Джэксонвилль. А сейчас я все еще в Джоржии, – чешу висок и снова курю. Идет дождь. Он напоминает мне детскую коробку с игрушками, – разрисованную и цветную. А когда открываешь, оттуда ползет чернота, пугающая и завораживающая тебя словно глаза питона. Хей-зл Херст полон душистых трав и напоен ароматами июльских Фраклиний. Они еще известны как Гордони. Иногда их путают с Схимой.

Здесь они распускаются почти одновременно, в середине лета.

Ладно, это напоминает введение в ботанический словарь эндемиков. Я же не собираюсь вас утомлять своей новой книгой. Да я пишу. Но немного. Не так как Маранга.

Эни Маранга. Ее карьера началась с какого-то телевизионного шоу. И что вы можете себе подумать, она также была удивлена и опешена, говоря себе, что я делаю здесь со всеми

этими звездами. А кто бы из вас так не подумал. Мне лично плевать. Потому что я не пою и петь вряд ли буду. Только, если с моего уха снимет свою большую лапу русский медведь.

Но все по порядку. Сейчас я снимаю футболку милитари и надеваю яркий красного цвета словно перец в чили свитер на голое тело. Мне нисколько не жарко, и я иду в ванну, снимая его, и одеваю снова потом, когда побреюсь и приму душ.

Зубы я не чищу принципиально. Шучу. Любовь может научить вас делать с собой все что угодно, даже если вы этого предпочитали не делать никогда.

Там, в комнате меня уже ждет две чашки кофе из четырех порций и сладкий чай. Иногда я пью его, когда нужно думать. А когда я думаю, то работаю. Мне не утомлять вас подробностями своего творчества. Тем более, что оно скудное и до зуболомление нудное.

И мне сегодня плевать какое придет вдохновение. Пусть оно будет смутным. Четыре стакана бурбона сделают его вполне похожим.

И что я собирался написать? О фраклиниях и гордониях? Ерунда. Сегодня вполне погожая ночька, чтобы порассматривать автостоянку. Я забываюсь, ведь дождь по-прежнему барабанит по крыше и стеклам. А я не выпил ни одного стакана с бурбоном.

Я вскрюкиваю на веранде, потому что кусаю губу и мне от этого совсем невесело. Только подумаю, как на это могут отреагировать люди. Не люблю, когда надо мной смеются.

Впрочем, этому тоже положила конец Эни. Объясняя, что по большому счету, кто, где и как улыбается всегда прерогатива хорошего настроения. А это одно из важнейших основ нашей жизни. Но я наблюдаю, как ползет капля, отражая подмигивающую неоновую вывеску зеленого цвета с красными буквами названия этой придорожной гостиницы в Хэйзл Херст и мне вспоминаются строки из бессмертных диплодоков Scorgins. И не помню, как она называется, даже не спрашивайте. Это мотель или отель, что-то среднее. В большом городе. Такая там композиция. Теплый душ это все, что мне было нужно.

И снова вареная картошка и курица, которую для меня тушит по моей просьбе неведомый повар. Но я ему доверяю.

Икаю и мне это на руку. С утра я выпил залпом четыре стакана бурбона по пятьдесят грамм и у меня развязался язык.

Я тихо ем и наблюдаю за шефом гостиницы, потому что кроме него в закускойной нет никого.

Единственное, чего мне не хватает, так это сало. Если вы когда-нибудь пробовали тушеную картошку на мясе курицы с салом, вы никогда от этого не откажетесь. Да это наркотик, – белое, просоленное свежее сало. Для худышек, что так разрекламированы были в прошлом веке даже уже, не знаю кем, это самый настоящий наркотик. Впрочем, о чем это я? Мне всегда нравились худышки. Женщины с излишним весом должны сказать мне спасибо, как и Луи Бертран.

Кто-то жжет сандал. Я принимаюся к запаху, – приторному и одуряющему.

Выбиваю азбуку Морзе на приподнятом центре пепельницы и вдыхаю свежий воздух Хиллиарда.

В самом деле, Алекс, теперь этот запах успокаивает таких людей с расшатанными нервами как мы.

Я поднимаю ногу и забрасываю ее на седло Кларка, – какая ему к черту разница как к нему обращаются; сегодня Кларк, вчера Карл, послезавтра Рорч. Мне это нравится.

Наверное, в моем прошлом у меня в роду были тexasские рейнджеры или кочевое племя.

Если бы у меня был дневник, наверное, я бы сошел с ума. Представляете, каждый раз записывать то, что ты делал в течение дня, выкладывать в сеть. И готов новый сайт. Любите меня и show me you lov. Я самая интересная ваша книга, словно надкусанное яблоко, выставленное как морковка на удочке перед носом осла.

На все про все у вас две минуты. Успели? Нет. Я тоже, отвечает пациентке врач-гинеколог.

– Интернет, это зло. Телевидение, зло. Враги повсюду, малышка. Враги! Читай газеты. В них пишут статьи злые журналоги...

Она внимательно слушает и кивает, и я даю ей понять, что говорю не серьезно.

О чем это я? Ах, да. Мне нужно остановиться и поесть.

Снова.

Я соплю, наклоняя вниз голову, и достаю из кармана штанов карточку Visa. Иду к банкомату и снимаю, – двести пятьдесят тысяч помножить на десять и разделить на сто, двенадцать... два... двадцать четыре... десять... ноль... сто поделить на двенадцать... восемь. Итого две тысячи восемьдесят. Плюс проценты за перевод и с банковской операции, – грубо говоря восемьдесят. Всего две тысячи.

Я много не трачу. За день около пятидесяти баксов. Пятисот остается на старость. Это как будто недоедать пиццу или класть в шкаф эклеры с картошкой. К тому же я не всегда останавливаюсь в придорожных мотелях. Сплю за рулем. Как? Останавливаясь на обочине, съезжаю с нее, кладу руки на руль, опускаю голову и сплю. Иногда, когда очень жарко расстилаю куртку и ложусь на землю.

– Сплю стоя, ем стоя, звоню родителям стоя, – говорит Эни. – Получаю удовольствие стоя...

В нашей стране для таких женщин есть специальная поговорка. Не буду интриговать. Посмотрите на любом.

Мне все равно, когда спать, – днем, ночью. Я подставляю щеки под лучи солнца, – жгучее и назойливое, словно муха. Подставляю под лунную тень. Мне все равно под чьи из них подставлять.

Двадцать на пятьдесят баксов, тысяча. Десять на двадцать – двести. Остается восемьсот баксов. Этого по горло достаточно на бензин, и безбедную старость.

Какая муха вас сегодня укусила, господин Дейви? Может быть хватит трусить пепел на свое будущее и передавать сос японским братьям?

«Что это у вас за кнопка такая, господин президент?». «А ничего, я так развлекаюсь»...

Бывают дни похожие на дни, которые я провел в Кагосиме, – серые и унылые, капающие тебе на голову с потолка словно темная вода. Был такой японский фильм с коричневыми паркетами и девяностыми годами, отражающими всю историю каменных восьмидесятых. Если вы не смотрели, то посмотрите обязательно. Ну, да я рекламирую теперь фильм. А что? Очень хороший, под настроение множества вероятностей, которые роятся в моей голове, когда я вспоминаю о старой Америке.

Эни прочно заняла место в моих фрустрациях.

Не буду больше курить, в животе плохо. Оставляю красную пепельницу на столе, беру и ставлю на скатерть чашку чая. Рисую круги ее доньшком на пестроте, соприкасающиеся между собой точками математических областей. Словно ареалы рынков в таблицах по Межэк. Я об этом не многое знаю. Если вы спросите у ее менеджеров, они расскажут вам, что там, где они соприкасаются есть что сказать. Другой мир. Другие законы...

Нет. В мире не может быть ничего другого для каждого, кто в нем. Другое дело, что точек соприкосновения в нем может оказаться куда меньше, чем хотелось бы.

Конечно, вы не встретите ее разгуливающей по Манхеттену либо любому другому городу с пакетом от виски в руках или авоськой с продуктами.

Ее карьера началась по большому счету не с того шоу, а с галапроектов и студии звукозаписи DreamWorks Records с дебютного альбома и продолжалась все оставшееся время в качестве автора и продюсера собственной карьеры. В ней были отмечены такие даты как 2002, 2003, пятый и девятый после ее мимолетного и выразительного молчания в течение пятого. Альбом выпущенный ею до этого демонстрирует уникальный звуковой коктейль. Осенью 2003 года у нее родилась дочь, которую назвали в честь очередного президента. Ладно, хватит. Эти шутки о президентах становятся неинтересными. А в ноябре того же года появилось и её новое детище – альбом «Folklore». Название своего альбома она объясняет так: «Фольклор в моем понимании – это что-то волшебное, таинственное. Некая вера в собственные корни. У каждого человека есть свой фольклор – мрачный ли, веселый ли». Материал для нового альбома Эни начала потихонечку собирать и писать во время своего масштабного турне 2002. «Folklore» не удалось повторить сногшибательного успеха самого первого, и она предпочла на некоторое время скрыться с глаз публики.

Ей уже тридцать один и она изменилась в лице. А я по-прежнему вижу ее худой девчушкой, прыгающей в разноцветных клипах.

Я никогда не спрашивал от кого у нее этот ребенок. Боялся все время затронуть эту тему. Да и мне это как-то не в козырь.

Эни умеет слушать ритмы этого мира и умеет писать. Во время выпускает песни и знает, стоит ли их вообще продавать.

Она останавливает меня порой, когда мое настроение падает к зуболомительному искусству описания архетипов и истории корней культур, переплетенных между собой словно повествование Бунина в «Легком дыхании» с новеллами Вашингтона Ирвинга, будь вдруг такой неожиданный творческий союз. Словом которого был бы гудзонский ястреб парящий над развешенными штанами и ментиками на корявых орехах по берегу Тапан-Зее; рассказывающий к вящему удивлению публики своим желтым глазом о трехсотлетием раньше пробирающемся сквозь джунгли старой Америки в ловушку расставленную аборигенами майя с Испанским флагом священником Пасо Вальдивии, Педро де, – в туманных лабиринтах священного теонанакатла воскуряемого в святилищах касиков, – и черепах заляпанных кровью только что снятого скальпа который ходит по кругу давая испить чичу из головы испанского конкистадора самым трусливым из этого племени. «А из его ног мы сделаем флейты, – говорит Лаутаро, разводя в стороны руки и вскидывая их вверх»...

У меня по истории была твердая двойка. Ну, может быть,

я сгущаю краски. Мне никогда не нравились войны и разорение, кошмары капитуляции и блокады. Кучи трупов, наваленных один на другой и чертовски изобретательные интриги дворов в купе с их беспощадной жадой власти. Поэтому моя учительница махнула на меня рукой.

Ну, что дети? Кто сегодня не выучил тему, отказался писать реферат, таблицу по смежным характеристикам и биографию Ивана Сковороды? Кто сегодня получит два за диктант по определениям? Поднимите руки. Поднимают два отличника, четыре четверошника и три троешника.

– Ну и скажите теперь, кто из вас умнее, – глядя на съжившихся и вполне спокойно себя чувствующих других двоешников, спрашивает у потолка учительница по истории. – Ладно, опускайте...

Ты спрашивал меня однажды, Алекс:

– Почему ты так плохо учишься? Ты вроде бы парень не глупый.

Я дышу ртом. Так же как и Эни. Мы все так живем, когда вторим. Но теперь я умею дышать носом, когда захочу. Не буду никого обижать, если скажу, что Америка серьезна как тореадор перед быком. Веселятся одни Латиносы. Да! Это вам я говорю, как на духу. И так нам весело от этого смеха.

Эти глаза с прищуром, которые опускаются на мгновение по Штанглю и Данкеллу, никого не обманут, Эни. По крайней мере меня. Еще ни разу не видел, чтобы ты улыбалась

по-настоящему. С этих роликов и интервью... Впрочем, я не поклонник, а потому мне простительно такое обхождение с поп культурой.

– Вы читаете Мураками? В Америке сейчас его выпускают.

– Да. Я знаю...

Случайные встречи, случайные лица.

И даже если вы чего-то не знаете, говорите, что вы это знаете. Поверьте, мне сейчас так живет вся Америка.

Ты думаешь, буква Джи обозначает Genius? Нет, Эни. Для буквы «Г» в моей стране есть вполне целое слово на букву «S».

Не знаю, помнят ли мои друзья четвертый класс...

Потому что его не было.

Для кого-то не было, для кого-то был...

И если кто-то из них сейчас помнит из этого четвертого класса хоть что-нибудь, то, наверное, он уже не смотрит прежними глазами на этот мир. А с приоткрытым третьим в нем жить не очень. Если ты понимаешь, о чем я?

В основном со мной никто не заговаривает. Это из-за моего лица. Оно все время сосредоточенное или какое-то злое.

Так говорят.

Да я и сам замечал за собой. Теперь улыбаюсь как идиот, и расслабляю мышцы лица.

Придвигаю пепельницу снова и закуриваю. Время расслабиться, но что-то как-то все время не расслабляется. Только

в дороге. По Нью-Кингс Роуд напичканы чуть ли не в ряд монументы в виде небольших каменных обелисков. На каждом повороте.

Много тени. Меня это не раздражает. Но и не радует.

Никак не могу расстаться с этим красным свитером, который она мне подарила, – Foriss sports, красного перца. Он уже совсем изношен, растянут и в некоторых местах прожжен сигаретным пеплом. Но этих дыр не видно. По крайней мере, для меня. Это напоминает то, как дети прячутся от посторонних глаз, заходя за меньший в несколько раз в ширину их самих столб, и накрываются одеялом. Я не вижу – значит, меня не видят.

Так примерно его я ношу. И мне это нравится.

Она дарила мне много других вещей, но я от них избавляюсь.

Как?

Кладу в ящики и забываю в мотелях.

Да, я вообще такой забывчивый. Что вы...

Струшиваю пыль с джинсов и слушаю скрип закрывающейся за мной двери. Сейчас я поставлю свою любимую музыку. А впрочем, нет. Мне нравится этот старик в перепачканной бельчеровке и грязной робе, – копавшийся минуту назад в моем двигателе, а теперь подающий мне чай.

Я кладу очки на коленку дужками вниз и разглядываю через них потолок.

Жую лимон.

Могу кривиться, а могу, нет.

Могу улыбаться...

Такая эта наука – управление эмоциями.

Черт с ним с управлением. Я даю тебе руль, Эни. Управляй ею как хочешь.

Вот и Виллис.

А сейчас я кантуюсь в транспортном судне, наблюдая и слушая голоса команды, – тихие и бархатные, успокаивающие меня так, как не может успокоить меня даже голос отца. И я пишу «Тени прошлого» пополам с духами и лейт-мотивом трансцендентальной психологии. 2008. Потом мы встретимся, и я буду показывать тебе простые числа, о законах которых ты давно уже в курсе. Но я буду рассказывать о них по-новому:

– Видите, как заканчивается композиция госпожи Пинк. Три минуты тридцать шесть секунд. Три плюс шесть, девять. Влияние активного на пассивное в высшем порядке. Три на шестьдесят, сто восемьдесят. Да плюс тридцать шесть, двести шестнадцать. Два плюс один, плюс шесть, – девять. Спела так, что и самой понравилось и публика в диком восторге. А теперь проанализируем хит госпожи Рианны. «Сгу». Три минуты, пятьдесят три секунды. Результат, пассивное, результат. Что и требовалось доказать. Сто тридцать три секунды, – семь. Единица – активное. Вы за мной успеваете? Не обязательно, я могу повторить для тех, кто слушает музыку. Остановилась композиция где. На пятидесяти секун-

дах. Это пассивное. Продолжение композиции – еще три секунды тишины. Пассивное без активного, результат дает – хронический насморк. Спела вроде как-то так, и вроде бы даже самой понравилось. Но не очень-то напрягалась, а потому и результат соответствующий. Анализировать хит Милен Фармер вообще не имеет смысла...

Я плохо помню твое лицо и смеялась ли ты при том. R&B попадет вскользь как и инди-поп, и мы анализируем другой:

– А вы вообще молчите, госпожа Пинк. Вы статистическая ошибка в мире раскрытых окон Америго Веспуччи. Теперь индейцы охотятся на ковбоев. Взяли топор – полетели. В какой последовательности. Это тоже, конечно надо учитывать, но об этом позже...

Весь мир это числа – факт, который неоспорим.

Always somewhere...

У меня закатываются глаза, и я падаю, – на кровать, разумеется, всю ту же, – с испачканными носками и провонявшейся металлом от болгарки робе. И засыпаю под раскачивание штормового предупреждения, которое уже началось и продолжается вот уже пол часа. А я не могу уснуть и снова глотаю таблетки. А потом будет утро и все повторится. Но этому придет конец, чтобы навсегда положить трубу идиоту с зажигалкой в руках сигнализирующему портовой башне с таким же огнем наверху о любви к звездам и всему творчеству Бремена...

– Ты знаешь, что такое нейромант, Алекс, – как-то спро-

сил я своего друга.

– Да.

Больше я у него ничего не спрашивал.

Раньше это был специальный отдел при Советской разведке. Но тогда было время восьмидесятых, а я только спустя год появился на свет.

В 1992 они были расформированы и сейчас это бабушки целительницы-вещуньи и дедушки, заговариватели зубов бабушек колдуний, отыскательниц мест заначек дедушек зубозаговаривателей.

Ночь. Ничего не слышно, кроме двигателя. Я раскачиваюсь в постели вновь на пляшущем по волнам сухогрузе и у меня краснеют уши от собственного бесстыдства. Из Европы через Атлантику в Мобил. Там встретят нас чернокожие докеры, и мне вновь слышится неспешный разговор, тихо подтрунивающих друг над другом кока и старшего помощника.

Опять эта красная кнопка, как... где это будет? Не припоминаю уже этого города.

– Вытащите свой топор из моей спины, господин Мэнсон. Он мне мешает раскуривать трубку мира с госпожой инди-попа.

Допиваю свой чай и расплачиваюсь за работу с Бобом. Такое распространенное имя, а столько тепла от него, будто ты заглянул на пшеничные поля жарким летом.

Что это еще за воронье здесь такое? И какого хрена оно

тут делает? А?.. Прошу прощения. Всегда матерюсь, когда у меня хорошее настроение.

– Купите очки, мистер.

– Пароходу они ни к чему.... Человек фильтр очень похож на меня на этих плакатах. Ты хочешь окончательно дополнить мой образ, парень?

Пожимает плечами и не улыбаясь смотрит на мою рваную в двух местах майку. Наверное, день был не очень.

– С моим чувством юмора сегодня что-то не то. Технические неполадки. Человек паровоз? Ладно. Они стоят?

– Четыре доллара и двадцать пять центов.

– Не пропусти покупателей. – К нам подходит еще один такой же, как я, только в кожаной куртке и полный раскрашенных рук, оголенных до плеч. Большое пузо идет впереди него. – На тебе четыре доллара и семьдесят пять центов.

– Зачем?

– Ну, как же очки стоят четыре доллара и двадцать пять центов. Я даю тебе семьдесят пять и десять долларов. Значит, сдача мне семь с половиной....

– Бери свой доллар, – отдавая ему причитающийся ему доллар, говорю я почти восемнадцатилетнему пареньку с черной кожей и смотрю в его задумчивые глаза, обнаруживающие недостатку. – И никогда больше так не делай.

Он продолжает за мной смотреть из-под синей кепки, а я разворачиваю свою Семи и завожу двигатель одним резким толчком правой пятки.

Моя совесть вполне уживалась со всеми долларами до Хобокена. А теперь мне как-то не по себе после Паттерсона... Но вы уже в курсе...

– Мистер. Забыли шляпу! Мистер!

– Садись и чувствуй себя капитаном.

Сажусь, глаза разбегаются от огоньков зеленого поля с красно-фиолетовыми пятнами по рельефу дна, маячков и радаров:

– Сначала штурманом себя надо почувствовать.

– Вот то-то...

Еду. Сейчас у меня настроение кепское...

– Как это говорится на английском с украинским диалектом? – Она всегда смеялась.

И это неизбежно.

Почему-то некоторые полагают, что если у нее португальские корни, то она *parles portouges*.

Едрит вашу бабушку. Точно также как я *parles vu francais*.

– А у диплодоков бывают зубы?

– Нет. Ты что, малышка?

– А у скорпионов?

– 3-3-3... показываю только по субботам и вторникам...

Не надо мне снова показывать свой язык в ответ, – я не поделюсь с тобою своими эмоциями. Потому что они очень тяжелые.

– Давай напишем письмо президенту Обаме на туалетной бумаге. Как Санта-Клаусу. Дорогой господин президент, –

не держите на меня зла, господин Обама. – Я хочу, чтобы мировой кризис наконец-то закончился... Верните мне мое детство... Пусть моя мама всегда будет рядом... Хочу побывать на фестивале Блюза в апреле и успеть на концерт в Алабаме...

Не нужно просить людей совершить невозможное. Иначе они могут попросить от тебя самой взамен то же самое.

Ну, вот. Моему настроению окончательно пришел Лаутаро.

– А тетя Пинк потерпит. Потерпит, не нужно сопротивляться моей кочерге. Она у меня заколдованная. С ее помощью я заставляю раскуривать томагавки Мадонну. – Она смотрела как мы играем. – На, держи! Кто теперь Вирджиния Вульф?

А Мадонна покурит томагавки. Покурит.

Ради господина Мэнсона, Пинк и Робби Уильямса.

Она еще не на такое способна.

– Что-то не курица, – говорит Мадонна.

– Зажигалка у тебя не такая просто...

– Это ваши теонанакатлы, Бейонс, не к черту...

– А я, – поглядывая на Робби Уильямса, серьезно говорит Мэрилин Мэнсон, – если никто не против, покурю этот бычок...

Ну что вам сказать господин Мэрилин? Все сигареты у здесь присутствующих обыкновенные, а на грядках мы работаем только с капустой и граблями.

– Просто, у меня такая же «кочерга», как и ваш друг, – говорит апарт Мэнсон. – Это ничего, что она носит на голове ноутбук с мексиканскими вазами. Они помогают ей также хорошо владеть трубками мира, как и пикадорскими саблями.

Не помню, что ты ему ответила. Но Мадонне порядком надоело раскуривать топоры вместо Робби Уильямса, и она решила расставить всех по своим местам.

– Что из этого получилось, ведает один Грин Пис, – цепляется к словам по-прежнему недовольный Мэнсон и раскуривает бычок Робби Уильямса. Непереводимая игра слов на русский.

Я долго смеялся.

– Ну, я подумаю. Докуривать мне его или нет...

– В таком случае, я за господина Обаму. Снимайте ваше платье, господин Уильямс. Отдавайте свой зонтик, мисс Ри. Я буду его раскуривать. А-то тут томагавки не на всех роздали...

Дядя злой, дядя добрый... Не читай этого, малышка. Это для мамы... Дядя грустный, дядя веселый... у дяди все переворачивается там внутри, когда он переворачивает листы своих мелких записок. И потому я оставляю их здесь, – испианные и испачканные, заштрихованные шариковыми чернилами, начерканные и переисправленные. Я буду их оставлять в каждом мотеле, мелькающем у меня перед глазами, словно гордонии и фраклинии, «Мери Кей» и ночной дождь

в Хоббокене, синие кепки, и чайные кружки, выдавливающие отпечатки на белых форматах А4, – таких, которые можно раздобыть везде, где только есть принтеры.

И мне нечего больше сказать, потому что нечего больше почувствовать. И если есть что-то, что заставит меня почувствовать, дайте мне это. Я проглочу, прожую это как таблетку. Потому что нет музыки, и ничто не заставляет мое сердце биться чаще. Здесь плохо ловит радио. А завтра я снова буду слушать его и, возможно, кто-нибудь что-нибудь сыграет в унисон моему настроению.

Так мало?

Да мало.

Хорошего всегда мало...

А ты что же думала? Я буду уподобляться людям, которые отыскивают больные точки в самых труднодоступных местах человека и давят, давят на них, пока те не заплачут?

– Нет, мама. Папа тебя любит. Он хочет, чтобы ты всегда была рядом... – Так? – Нет, папа, не уходи. Не надо. Посмотри, какой теперь у меня портрет!

Это еще что.

Хочешь посмотреть на мой?

Дориан Грей.

– Ладно. Давайте мне эти топоры, – скрипя сердцем, бурчит Мадонна. – Я буду их раскуривать...

– А я не дам тебе свою зажигалку, – всхлипывает Бейонс. – Кури их теперь как хочешь...

Отставляю чашку с последней каплей, которую вытрусиваю себе в рот, тушу окурок и натягиваю футболку. Надо бы взять еще чая. Крепкого и несладкого, такого, от которого вяжет во рту. Благо, что рядом очередное кофе и мне до него идти двадцать шагов.

А чайника нет, и в номера подают только простыни, – это мотель.

Снова тебе в носу кажется, что ты чувствуешь дым. Это мой. Да, сейчас я его брошу. Сколько можно? Возвращаться с чашкой кипятка и ставить ее на стол. Снова и снова, копаться в воспоминаниях, разглядывая белый лист.

Забываться, вспоминая города и ориентиры Леже – Сен Жон Перса и разглядывать птиц по утру застывших подобно каменным истуканчикам на проводах.

Бледное, восходящее солнце медленно поднимающееся над серыми сумерками, застает меня врасплох и я забываюсь, глядя в пустоту нетронутого Эрих Краузе прямоугольника, – плоского и белого, – прилепленного к столу, а в голове роятся мысли и слова, эмоции от которых беспорядочно тают в предрассветной дымке. И я проваливаюсь в Паттерсо-не еще в одну ночь, которая превратилась в день. А на стоянке в Вилласе, меня встретит Боб и торгующий очками с лотка паренек. Будут заглядывать в мои заплывшие синяками глаза.

Бу! Сегодня я ужас Мао Дзедуна с чашечкой кофе и пончиком с пудрой в кровать, говорит Люси Лиу Бандеросу.

– Нет, спасибо, – прихлебывая из чашечки, отставляет мизинец тот. – Китайская зарядка уже закончилась. А если честно, то мне с тобой соревноваться не с руки. Ибо я – церковная свечка, разгульная пьянка... безмолвная речка. Японская танка!

Тебе кажутся мои шутки злыми? А что, если даже так. Жизнь вообще одна большая злая шутка. Так почему бы не воздавать ей, по заслугам?

Ум-м-м, какие хорошие топоры, госпожа Мадонна. Как интересно они раскуриваются...

Мы все такие – злые и мстительные. И я был когда-то... – кажется, целых три жизни тому назад. Хотя не думаю, что раскуривать топоры, вместо того, чтобы ими пользоваться, можно назвать прогрессом.

Ты права, Эни, если считаешь, что я романтик. Но я прикрываюсь циничностью, и у меня неплохо выходит. Разве нет?

Не знаю еще ни одного человека, кому бы плохо жилось с такою чертой. Это как переключать каналы с мыльных опер на Опру Уинфри. Удовольствия мало, зато много опыта.

Знания, это сила. Бух в Мадонну, – валяйся Рианна. Жах в Бейонс, – лови зажигалку Ульямс. Гах из-под локтя в Ульямса, – улыбайся Мадонна. Умоюсь кровью. Умоюсь! Все ровно она не моя, а Мэнсона. Кто это тут под ногами валется? Пинк топором задело...

Шутка ковбойская, шутка бандитская.

Они у меня через одну.

Сидит зверобой в кругу индейцев.

– Ты не нажмешь, – говорит старый вождь.

– На что спорим?

– На мою жену!

А вот продолжение.

Зверобой нажимает курок, отводя дуло в сторону:

– Шутка. А сейчас, – наводя ружье на вождя, говорит зверобой, – спорим, что попаду?

– На что, – спрашивает старый вождь.

– Ваша жена меня не о чем не просила... но я все же хочу сохранить вашу семью.

– Отпустите его, – говорит старый вождь. – И дайте ему мою, – глядя как зверобой поглаживает свое ружье, продолжает:

– Трубку!

– Ало, малышка, прости, что я опоздал с днем рождения.

Тебе привет...

– Куда вы звоните?

– А в кого я попал?

Не знаю. Нашел, здесь на скамейке валялся. Оставлю, может кто-нибудь тоже найдет.

Дам жену, точно пристрелит, думает вождь. Дам топор – убьет кого-нибудь еще, скажут, что я. Такая там примерно логика была у вождя.

Вспоминаю отчего-то Гадалина. Еще не открытую звезду

психоделики. Как там ты? Неужто опять загремел в психушку? Хватит отлеживаться на казенных харчах. Вставай и работай.

Если все пойдет так, как я планирую, и нам удастся совместный проект с Базукой, то у тебя все будет. И это будут не пустые слова.

Я не звоню ему и совсем потерял с ним связь. А без меня он напишет кучу ненужного барахла. Хотя быть может, я себе льщу. Настало время сказать «стоп».

Я научу тебя говорить это слово: стоп наркотики – здравствуйте сигареты; стоп сигареты – здравствуй алкоголь, стоп алкоголь – здравствуйте наркотики...

Да, я учу только плохому. Хорошему должна научить мама.

Теплая вода и пар заставляет меня расслабиться и отпускает усталость. Я провожу по волосам. Остаются в руке. Так много.

Облепиховый гель.

Нет, возьму еще.

Что это у нас сегодня? Пантин про-ви. «Упругость и форма волос с многоступенчатой стрижкой». Да у меня праздник!

Волосатая все-таки у меня задница...

Я сказал, что это для мамы!

Мне помнится, как мать одного моего друга говорила, что красивый мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезья-

ны. Наверное, это так.

Разглядываю свою переносицу и подбородок в ложке. Нисколько не похожи на эталон красоты.

Ты веришь Нэо, что эту ложку можно согнуть?

Я верю, что в этой ложке мое отражение вверх ногами. А если ее перевернуть, то я буду отражаться в ней по-нормальному.

– Да. Будем шутить, – говорит Мэнсон. – Только по-умному. Так, чтобы людям вокруг было весело и тебе самому...

Нет, малышка, я знаю господина Мэнсона как себя самого. Когда шутишь по-умному, никому, кроме тех, кто вокруг не весело. Шути лучше так, чтобы доставлять удовольствие самой себе. Это ситуационный подход. Сейчас так во всем мире. Не буду говорить, что он чем-то лучше другого. Во всяком случае, не хуже – уж точно.

И госпожу Ри я напрасно обидел, уличая ее в эгоизме. Она тоже неплохо поет. Сейчас так везде поют.

– Смерть заказывали?

– Ошиблись дверью. Русскую рулетку слушают этажом выше...

Ну, вам ничем не угодишь, господин Мэнсон.

– Чувствуйте себя тогда, хотя бы расслабленно, – говорит Иракский дух Биллу Клинтону. – Я в вас войду.

Нет, не буду тебе рассказывать анекдот про атомную подводную лодку с Мэнсоном на борту. Лучше расскажу анекдот про чукчу.

Прохожу в комнату и беру кофе, – остывший, но еще теплый. И закурываю, нагибаясь над бумаги...

Здесь тихо. Так тихо, словно в склепе с безымянной табличкой. И мне отчего-то хочется подольше здесь оставаться...

– А я смотрю на эту фотографию из стоп кадра, – говорит Робби Уильямс, неожиданно для всех вынимая фотографию Триши Хэлфэр. – И мне отчего-то кажется, будто я заглядываю в реку, эту безбрежную и беспощадную как само время. И вижу в ней свое собственное отражение...

Словно я слышу старый забытый блюз, далеко отовсюду и близко везде. Сквозь ропот толпы и неспешные переговоры слабо бубнящей толпы. В далеком-далеком прошлом, которое возвращается не для того, чтобы поранить меня своею несвоевременностью и беспощадной ответственностью перед самим собой, а напевая печальные ноты моих чудесных глупостей и тоскливые треки надежд, которые потягивают меня и нежно дразнят дорожками былых оплошностей и больших разочарований. Словно потягиваясь во сне, теплой ночью или весенним утром в изобилии темных сумерек, я встаю на ноги и брожу по холодному полу, в своих мыслях, оставляя дымиться последний окурок на столе балкона, а густой мягкий дым опоясывает мои пальцы, завладевая мыслями. Гармония, которая, несмотря ни на что, уверенно занимает место в звучании длинных, протяжных вздохах и выдохах... нет, только не скрипки. Она из меня вытянет

последние капли крови.

Я буду дышать ртом, и слушать воздух сегодня, для того, чтобы... чтобы... чтобы.... Чтобы меня забыли мои холодные воды, и я погрузился в тихое шуршание дождя по асфальту.

Рожденные пеплом воспоминания, клубятся в тихом мотеле, очередном уголке этой великой страны и я забываюсь, глядя в одну точку.

Это было время хорошего сна и хорошей охоты, скажу я тогда и затушу в развезенной мною грязи пепельницы окурок. Добавлю еще воды, стряхнув пальцы обмакнутые в виски со льдом, и подобью подушку.

Когда у меня заканчиваются слова, я обычно сплю. Но я сплю, бывает и днем. С широко раскрытыми глазами.

Запах сандала слышен даже через рот.

Попробуй как-нибудь вдохнуть и выдохнуть через нос.

Когда я, наконец, брошу курить? Наверно, когда перестану дышать ртом.

Хватит Эни. Ты шикарно навернула круги от Монтроз в Хейзл Херст и от Вилласа в Линкольн. Не могу не вспоминать об этом на Нью Кингс Роуд.

– Здравствуйте, господин психотерапевт. Я хочу рассказать вам свою историю, но буду очень тужиться... потому что она доставляет мне дискомфорт.

– Не извиняйтесь, здесь все пукают, когда очень хочется...

Помнится, кое-кто говорил, время необратимо и даже, ес-

ли вам это некстати, вселенная продолжает двигаться, – когда вы спите, курите и пишете свои произведения, – одному лишь господу Богу дано превращать бывшее в небывшее. «Поэтому проверьте, всегда ли тот, кто ушел, пришел. А тот, кто пришел – ушел. Вы себе даже не представляете, сколько лишнего народу топчется почти на каждой странице подобного творчества. А между тем, достаточно помнить, что если кто вышел из точки А, отправляясь в точку Б, то в точке А его больше нет. И его неприбытие в точку Б может иметь место только в крайних обстоятельствах, о которых читателю необходимо сообщить».

Надеюсь мне не обязательно это делать. Но на всякий случай напомним, что из Норфолка – А в точку Джэксонвилль – Б я выехал через Бремен и какой-то еще германский городок. А точкой В явился 2009. Производной, от которой я полагаю, будет точка Д – Кагосима-сити.

Не спрашивайте меня, какой точкой все это закончится.

– Зачем вам этот жезл, господин постовой?

– Та, с ним так прикольно стоять. Подождите. Сейчас штраф оформим за удар в столб в трезвом виде. Кстати, как вам это удалось?

– Мне он понравился.

– Ну, тогда врежьтесь еще в один. Там за поворотом.

– Зачем?

– Раз мне так прикольно стоять, пусть моему напарнику тоже скучно не будет.

– А штраф простите?

– Еще бы!

Мама, купи слона. Купи слона, мама...

Не делай так, как я. Слушайся взрослых. Только постовых не всегда, а-то мало еще чего...

Да. И никогда не остри.

WJBT, – Бит, Хип-хоп, R&B очень редко. Надобно поменять волну. Переключаю на WPLA 107 и 3. Здесь она хорошо принимает. Сделаю погромче, когда буду проезжать Кауфорт. Это что-то вроде коровьего города, думал я, пока меня не исправили. Исторически правильно, называть Кауфорт Коровьим бродом, сказал какой-то очкарик, встреченный мной в Даунтауне. И я передумал тогда въезжать с шиком, прикрутив громкость альтернативной волны. К тому же, оказывается, я въезжал ни в какой не в Кауфорт, а колесил по Арлингтону, прямиком с Нью Кингс Роуд. Но и там Нью Кингс Роуд не заканчивалось, пока я не пересек Харт Бридж. Сукин сын сказал, что это Харт Бридж! Не доверяйте попутчикам без очков. Они явно едут не оттуда откуда вам сообщают и не туда, куда вам нужно.

Панджаб МСи. Нет, это я просто обязан дать послушать всем, кто только услышит, даже если им это без надобности.

«Now listen to me, baby...» тоже неплохая. Пусть мама порадует. А-то ей уже надоело петь об одном и том же.

Одна моя учительница говорила, выдавая секреты английского языка, что есть такие вот heartbreakers. Нет, я только

прикидываюсь. Это не так. Она меня знает.

– Я тебя знаю, – говорит Майк. – Ты не такой, каким хочешь казаться последнее время. Долгие годы пессимизма накладывают на человека свой отпечаток. Поверь мне. – И я ему верю, поднимая стакан с чем-то вроде виски. Но чем-то очень дорогим. Это вкусно.

– Ликер, – говорит он. – И что самое поганое, то, что все эмоции куда-то ушли. Пропали, словно в черной-черной комнате я ищу черную кошку.

– Нет. У меня другая кошка...

– Какая?

Он ждет, покачивая ликер, и облокачивается на подоконник. За окном идет снег.

– Ей тридцать лет, – говорит потом Майк. Не дождавшись ответа. – А тебе двадцать семь...

– В наши суровые дни это кризис среднего возраста...

– О каком кризисе ты говоришь. – Он говорит много. И много правды. Но я слушаю его невнимательно, сквозь призму собственного эгоизма, которому наплевать на притязания Майка на светских львиц. А потом вдруг оказывается, что ему нравится совсем другая, какая-то бедная девушка, вышедшая его от нервного срыва, – сиделка или санитарка. И мне наплевать на то, что он мечется и не может остановить свой выбор на ком-то конкретном, в конце концов. И я совсем засыпаю, когда он начинает рассказывать какие подарки и как он дарил и придумывал. И наконец, оказыва-

ется, что обе от него без ума и ему теперь тяжело свыкнуться со своей совестью. Мне, конечно, не полностью наплевать на то, что он мне все это рассказывает. Потому что ему удастся рассказать это немногим, и он предпочитает с другими молчать. Также как я. В таком мире душно. И сигареты всего лишь отзвук подобного творчества: «Пишите кровью», – Маркиз де Сад. «Нет, спасибо я лучше вашей», – Граф...

Желание американцев жить подальше от шума городских улиц, в собственном доме, и возможность, это желание осуществить, сделали свое дело. Люди купили себе дома, сели в машины и переселились в пригород. Вслед за ними из пригорода переехали супермаркеты, кинотеатры и рестораны.

Вы спрашиваете, как мне в Джэксонвилле?

В каждой части этого города, разросшегося и раздобрившего молами – под их великолепной и просторной крышей (почти в километр протяженностью) разместились магазины, парикмахерские, рестораны и еще много чего. Теперь народ отправляется в мол не только за покупками и развлечениями, но и на прогулку. Впрочем, по улицам особенно-то и не погуляешь. Улиц как таковых тут нет. Шоссе-магистралы, вдоль которых на расстоянии друг от друга тянутся здания бизнес центров, окруженные большими парковочными площадками. Иногда застроенные домами участки сменяют большие парки флоридского леса. Тонкие, близко растущие друг к другу сосны, между которыми буйно разрослись кустарники южной флоры.

«Сейчас городские власти стараются придать Джексонвиллю более или менее городской вид. В самом центре заложен фундамент высотного жилого здания с шикарными квартирами; совсем недавно открылся новый, большой, многоэтажный отель, а также существует проект строительства платформы, которая в будущем соединит нынешнюю, довольно короткую набережную с парком. Но станет ли Джексонвилль когда-нибудь настоящим большим шумным городом, с развитой сетью общественного транспорта, – метрополитена с шумными электричками и разветвленной подземкой, – многоэтажными жилыми домами и улицами, запруженными людьми? Это большой вопрос. Потому что никто не знает, где та сила, которая вытащит джексонвилльцев из-за руля собственного автомобиля, швырнув их в сутолоку урбан-стрит, – продолжал мое знакомство с городом радиодиспетчер, и я его прикрутил, – ...замкнутое пространство квартир...

«...город на юге США, шт. Флорида. 550 т. ж. (1984), с пригородами 760 т. ж. Мор. Порт на р. Сент-Джонс близ впадения в Атлант. ок. Судостроение. Целл.-бум., пищ. Пром-сть...», – это вы можете прочитать в любом энциклопедическом словаре за 1981 г. Но зачем? Так, на всякий случай...

Публичная библиотека, фонтан дружбы, какое-то здание, – как оно называлось? – Арлингтон, Урбан сити, и наконец, Даунтаун. Я проехал четыре моста. Или три? Хочу

побывать на четвертом.

Иногда мне кажется, что человеческой историей управляет невидимая длань: семь президентов, семь мостов. Если поискать еще, то можно наверняка отыскать в этом городе такие же семь незаметных вещей.

На Фуллен Варене, мне показалось будто я парю над географической сеткой меж участками домов, пересеченными множеством белых дорог. Но они были серыми и желтыми, а вода синей. Такой, какой ее видит множество людей. Такой, какой она встречается в большинстве городов на воде. Только не надо мне вспоминать еще красное и желтое море.

Кому здесь хочется плакать?

Мне?

Ну, хорошо. Тогда я плачу, – пух-ф! Дышите джэксонвилльцы моим дымом. Он выходит из меня сразу из трех труб.

Бензин? Нет. Много, много одеколона! Растите раковые клетки. Растите и размножайтесь. Мне наплевать, когда я делаю людей счастливыми.

Держу огонек зажигалки, как в Бремене, там, для топливной башни и кому, какая разница для кого? Кому какая разница кто? Самое важное – где и когда. А с этим я, кажется, немного ошибся: опоздал на концерт в Алабаме. И на фестиваль в Джэксонвилле уже не успею, потому что он был в апреле. Выходит, не очень спешил.

Наверное, так.

Томик Ятса с трудом и неуклюже шуршит под моими

пальцами. И мне хорошо под этим дубом, в его тени.

Он наделяет тебя каким-то особым чувством: будто сидишь на руках одного из своих прадедушек или прабабушек. И они говорят курить вредно. Но я это знаю. И не жду от кого-нибудь теплых слов о беспокойстве моим здоровьем. Я не жду их давно. И даже от Эни. Потому что знаю, что они мне уже не помогут. Прошли те года, когда я бы с радостью воскликнул: «Эни, ты говоришь это всерьез. А значит, для меня сейчас настало самое важное событие в моей жизни. И благодарен тебе...». Сейчас я буду благодарен самому себе, если я брошу, потому что понимаю теперь значение слов так глубоко ранивших мое сердце в далеком прошлом: никто не позаботится о тебе, кроме тебя самом; человек всегда и везде одинок. Всю свою жизнь. не помню, кто мне это сказал. Но я никогда не верил в деда мороза и Санта-Клауса. Никогда не верил в фей и рождественских эльфов. И мне, по-моему, никто никогда не говорил, что их не существует. Я как-то понял это сам. Самого моего детства. Как-то в один прекрасный день. А может быть, я всегда знал об этом?

А потому я не тот, кто вам скажет: «Не верьте в эльфов. Не верьте в фей и в белобородого чудака с подарками». Я тот, кто вам скажет, что мне чертовски не хочется никого разочаровывать. Потому что я знаю, как неприятно испытывать любовь к тому, кто причиняет тебе неприятности, кто доставляет боль. Пусть не всегда. Пусть не одну, и недолго. Пусть невниманием или участием. И потому я буду радовать

кого-то, кто мне безразличен. Кого угодно, кто также равнодушен ко мне...

Да. Хватит.

А-то еще подумают, что я умный.

«Ни одна зараза не клюнула, – провозжая прилично одетых и откровенно вызывающих женщин, спешащих по дорогам Даунтауна, кладу томик Ятса на место. То, откуда я его взял, на скамейку. И оставлю здесь, также как тот телефон, который также кому-то напоминает о чем-то далеком. Из прекрасного прошлого, переплетающегося чудесным образом с настоящим и будущим. А вдалеке, как и на горизонтах наших воспоминаний, нет ни одной границы. Лишь точка, – способная превратить вас в четырехгодовалого мальчугана, – забредшего в окружение громадных каталогов с пронумерованными изданиями, периодики и журналов, лестниц и шкафов, громоздящихся вдоль стен библиотечного зала, – с разинутым ртом взирающего на ковры и потолки, вытертых и отбеленных временем, такого маленького, и такого хрупкого, что у него захватывает дух и немеют колени.

Treaty oak прощально покачивает мне листвой, и я стыдливо мну пачку. Кладу томик Ятса и сажусь на свою Семю, направляясь в Сент-Джонс, – он оставляет по себе пустынные доки и только редкие, слоняющиеся без дела рабочие, переполняют мои воспоминания морем, плещущимся на молах, магазинчиками, парикмахерскими, ресторанчиками и огромным тридцати семиэтажным зданием с какой-то

бело-голубой вывеской наверху, бросающейся в глаза сразу по въезду в Арлингтон.

BRING me to the blasted oak
That I, midnight upon the stroke,
(All find safety in the tomb.)
May call down curses on his head
Because of my dear Jack that's dead.
Coxcomb was the least he said:
The solid man and the coxcomb.
Nor was he Bishop when his ban
Banished Jack the Journeyman...

Но мне больше по душе картошка по-гавайски, а Йетс как-то себе так, не очень.

Всю дорогу морем я думаю о том, что единственный город, который я видел во всех Виллисах, Джексонвиллях, Линкольнах и Хобоккенах это Хёрст. Там, где мы были с Эни. Недолго, непродолжительно, совсем долю мгновений, пока у нее была возможность. И это ввергает меня в печаль. И я достаю свой испорченный телефон по прибытию в город, который стал последним моим пунктом в небольшой остановке перед отбытием в новый путь, и смотрю номер. Звоню по нему Дэвиду и говорю, что мне стоит его увидеть, – как и всех остальных.

Получаю согласие и не замечая дорог, которые для меня все на одно лицо, – плохие или хорошие, – колешу по городу. Дэвид ковыряется в пиалке с конфетами вилкой. Накалы-

вает одну из них и отправляет в рот. Придвигает тарелку с картошкой и хрустит ею. У меня текут слюни. Но я проглатываю их, запивая чаем. И от четвертой кружки аппетит куда-то пропадает.

Аннамари сидит за столом с нами, без любимой игрушки, подперев кулаками щеки и опершись локтями о дубовую столешницу. Дэвид смотрит на нее какое-то время и переводит взгляд на конфетницу полную «Даров моря» попеременно с каким-то другим шоколадом.

Он не говорит мне, что Эни уже тридцать лет, не вспоминает мои двадцать семь. Не говорит, что у нее дочь, и что я нашел в ней. Не спрашивает о том, почему бы мне раз уж я склонен к излишествам и облюбывал трудности, привить себе любовь, к примеру, к одной его подруге, которую сбילה машина и она до сих пор подхрамывает. Он не вздыхает и не оценивает меня, наверно оттого, что сам принял довольно странное решение. И Аннамари до сих пор не в курсе, что ее отец, настоящий, проводит время в сумасшедшем доме, а матери она никогда не видела, но Дэвид ей рассказывает о ней истории, и говорит, что однажды, она освободится от своих не требующих отлагательств дел и вернется.

Мне кажется, она верит.

«Sometimes I get loud when I wish
everybody'd just get off me...»

Я лучше послушаю Pink, чем буду читать Ятса. Честное слово:

«So many playas you'd think I was a ball game
Its every man for themself, there are no
team mates...», – знаете эту?»

Он умеет рассказывать. Особенно такие истории. Я смотрю на него, и он улыбается, но взгляд тяжелый. Мне страшно подумать, если Мари придет в голову спросить, знаю ли я ее маму. Но она также молчалива, как и ее отец.

Отсюда я уйду без анекдотов, но чай до сих пор будет мне помниться и, наверное, я не забуду его никогда. Уйду в соседний через два дома напротив особняк, – по правую сторону, – где идет снег. Там я встречу Майка и попрощаюсь с ним, пропустив пару бокалов рома или коньяка, – поправляя очки и отряхивая пепел с Ritter sports.

Не могу расстаться никак с этим свитером. И, наверное, не расстанусь. Мне он нравится.

Майк не прощается. Он знает, что видит меня не в последний раз. Не люблю разочаровывать людей.

Погода к концу лета на готской, как и везде в этом городе, всегда становится мокрой. Идет дождь и прохлада как нельзя кстати. После страшной жары Южной Флориды чувствуешь себя почти как дома, – тумана мало, но множество влаги. Капли редкие и частые, дожди пышные и весенние, – почти незаметные, – проливные, короткие и затяжные. Словно попадаешь в какое-то потайное место из давно минувших дней, где Солнная лощина заволакивается черными свинцовыми тучами и пробуждает самые тихие и безмятежные сны,

под беспрестанный стук по виноградным листьям, крышам домов и в окна.

И я плыву в этом тумане, минуя дома и высоты, редкие деревья и парковые аллеи. Мне совсем не запомнилась поездка домой. На очередной Семи, хайтеке или чоппере.

Возможно, я очень спешил, чтобы поесть картошки и Даров Моря. Затем сесть в седло и продолжить.

Дом всегда оставляет по себе только хорошее.

И так есть. Но порой мне кажется, что он один из многих.

Наверно я ошибаюсь, но мне нет смысла обманывать самого себя.

Зачем?

Просто я ошибаюсь.

Я ведь общаюсь с вами на суахили...

Я говорю, что нет смысла раскуривать в шоу бизнесе трубки мира, нет смысла писать президенту на большом рулоне туалетной бумаги подарки, которые бы хотелось получить к Новому году, потому что президент это не фея, которой под силу исполнить все желания. Особенно такие, которые пишут на туалетной бумаге. Но просто, – поймите правильно, господин президент, – она длинная. Можно конечно попробовать писать на бумажных полотенцах, но я, – честно, – пробовал.

– Это кризис среднего возраста, – говорит Дэвид, когда мы заговариваем с ним об Эни.

– Все намного глубже, – говорит Донован.

– Повторяю для идиотов... – говорит Майк.

Это не трансфертинг реальности. И не китайская танка. Это мне видится немного иначе, – и скорее на суахили, – чем кому бы то ни было из вас, потому что я расстилаю перед вами не свои мысли, а нечто другое. И мне нет смысла предупреждать вас ступать по ним аккуратно. Потому что об этом вас уже предупреждал Ятс.

Всякий раз, когда я проезжаю Мексику, мне вспоминается Эни и многое то, о чем нет смысла припоминать. Всякая ерунда. Безделица, о которой возможно в далеком будущем я буду вспоминать жадно и с наслаждением, словно стараясь удержать воду этой великой реки... от которой лекарство одно – которое известно всем...

А вам? Что с вами, когда вы проезжаете эту границу?

Неважно какую...

Любую...

Странно...

Музыка стала уже частью меня. Но я по-прежнему не умею ее писать. Не могу петь и не способен играть.

Интересно... поспевают ли мой двойник там подавать СОС японским братьям из Америки через эту красную кнопку?

Эх, Мураками, если бы мы говорили на одном языке...

Но ведь мой английский не так уж плох?

Я еду.

Дедов мороз нет.

А за голубую фею... Извините, господин президент.

Васаби

Душная тихая комнатка впитывает бетонными стенами городской шум и редкие к вечеру отголоски Кагосима-сити.

На столе кипяток в чашке, – такой же горячей как воздух, оплетающий мои мысли в плотной завесе едкого дыма от сигарет. Первая помарка на алебастровой поверхности одинокого листа под моей рукой дает мне знать о завидняющемся небе. Пахнет тяжелым шоколадом и молоком, которое я добавляю в чашку с кофе. Ставлю точку. Перо чопорного Pentel плавает на просторах бумаги, всплывая воспоминаниями «Si de bell».

От Кагосима до Токио, кажется, всего один взмах рукой, а Тиба-сити остается в моей памяти по-прежнему оплотом технократии, изображенной мастером снов влекомых неоновыми мотыльками и расстроенными огнями подрагивающих в ночи флуоресцентных ламп искусно замаскированных трущоб и тесных улочек агонизирующего конгломерата, полных грязи и вчерашних газет. Поднимешь голову и встретишь глазами свисающие гирлянды перепутанных проводов.

Бесконечный телефонный звонок – век прошлого. Нынешний – беспрестанный гудок оттуда сюда. Потому что темная душная комната, в которой находится телефон – твоё будущее. Подобное улыбке на твоём лице, тронутым печалью мертвых грез, остывших чувств и утонувших надежд.

Перец на языке, в голове ветер, откуда к нам прилетают озябшие птицы, – тоскливыми мокрыми крыльями засты глаза и прочие мысли, топорщат перья, встряхивая от дождя и пепла.

В таких вещах люди подобные мне, из прошлого тысячелетия, черпают вдохновения, граничащего с Gaumont и The Ladd Company, – картин, раздраживших плохим переводом и магнитными лентами воображение юных поклонников за Холодным Занавесом, – серьезных и робких, завидующих распятому Иисусу Южных штатов, распутным близнецам Севера. Воздевших руки и жаждущих новых впечатлений от чародеев монтажа, и сцены, – сладких, дурманящих, возносящих на вершины блаженства, возвращающих в хроники документальных событий, плохо сыгранных и наигранных драм, с китайской кухней и дешевым вином.

Пьяная россыпь алмазов в медленно поднимающихся титрах завораживающего черного экрана с неизвестной, наполовину понятной музыкой, – таков бронзовый век нынешнего поколения и моды его творчества соответствуют им.

Редкий смешок с улицы растворяет мои раздумья, превращая их в пепел, и я поднимаюсь, чтобы разглядеть черно-синее полотно Кагосима-сити.

У городов нет пола, но мне их отчего-то настолько приятно давать. «Born to touch your feeling» срывается и дрожит эфирными помехами в плохой записи, но это несколько не мешает мне восхищаться по-настоящему яркими звезда-

ми: вот алмаз, а вот изумруд, смарагд, карбункул, лал, сапфир, жадеит... Ищу в запоздалых импульсах нервное подрагивание далеких от дома, бездомных и прикованных к креслу в домашнем уюте старых знакомых: Charles S. Dutton, Paul McGann, Christopher Walken, Holt McCallany, Reedley Scott, Charles Dance... Назови меня. Меня! Меня... Но я вас не помню по именам. Мои дорогие, мои хорошие... Только лица. И сегодня они со мной, в Кагосима, этой необъятной земли, которая по необъяснимым мне самому обстоятельствам разрослась в моих впечатлениях вширь и в рост, заполнив мишурой невообразимых закатов, восходов и каждого маленького мест; настолько непохожих и рознящихся друг от друга чередой всевозможных оттенков, что единственным впечатлением, подавляющим все остальные, растет и ширится обаяние мелочей, из которых они состоят. Как я могу передать этот воздух и музыку больших городов? Мне не хватает слов, которыми называются оттиски в его чреве, – пульсирующем магистралями и огнями трассирующих авто в тишине одичавших улочек и глухих переулков к трем часам ночи. И я унесу их с собой по дороге, застывшей в раскаленном флюсе, исчерканной отпечатками шин и редком подрагивании осколков, слепящих зеленым светом никелированных фонарей, матовой серости тротуаров, растревоженных за день и покоящихся под иссиня-черным полотном. Туда, куда я иду, совсем позабыв смысл моей прогулки, отправляются все одинокие люди, но я подумаю о чем-либо более

своевременном и вспомню, что иду в магазин, – небольшой и уютный с медной ручкой на тяжелой двери, – впрочем, пусть она будет легкой из ДСП или иного материала, что так любим экономными обывателями этой страны, – в закоулке или ином неприметном месте, с придверным колокольчиком, неизменным дневным освещением; в самом неприглядном квартале, где проходимость и плотность людского потока днем выше нормы, но к ночи она неизменно падает, и можно видеть только случайные, заглянувшие в замешательстве полном изумления самими собой, слоняющиеся в одиночестве по захолустным улицам таких же, как я, – собранных и внимательных мужчин и женщин, приведенных строгой необходимостью и нуждой.

Меня раздражают большие, говорливые супермаркеты, – наводненные толпами и пусть даже немногочисленными посетителями. Они будто бы не дают отдохнуть друг другу от суеты и безумных рабочих дней, выплескивая раздражение и безучастность на персонал, к самим себе. Теснятся и заглядывают на рекламные вывески, в корзинки проходим, смеются громко и гомерически; тяжело передвигают ноги, белым пятном рисуя свое обретение на листах современной истории, казалось, канувшей в бездну после разбитых надежд, уповающих на перемены восьмидесятников, уставших от всего и вся поколений будущих, чрезвычайно привыкшим к раздорам политики, сиюминутным коллизиям и мелким обидам суровых буден, – таких обыкновенных

и знакомых каждому из нас, ибо сами они и есть мы, – суровые поглотители рекламы и невнятно сражающиеся на поле многочисленных игроков, сами пишущие, сами создающие эту рекламу, самопотребляющие продукты нашего нетерпения и противности к ним; ругающиеся и ругаемые, тяжелые на подъем и замотанные словно вращаемая юла; вспоминаемые и вспоминающие, не ценящие и бесценные, возбужденные и спящие. Игнорируемые и игнорирующие. Занесенные в книгу жизни и обретающие покой только по строгому распорядку, скитающиеся и скитаемые, засыпающие и пробуждающиеся. Слепые и зрячие.

Я прохожу по безмятежно-спящим закоулкам вылизанных, вычищенных до безобразия, лоснящихся пустотой улочек и вспоминаю город, каким его видел по дню, в обед и отчетливо понимаю, что не поеду в Тиба-сити, – ни за что, никогда. Пусть она останется в моих венах такой, какую ее нарисовал джентльмен из моего прошлого, – словно коньяк, разбавленный абсентом флуоресцентных ламп; вдыхающий битум цементных небес мегаполис, – полный свинцовых коробок и безраздельно властвующих зеркальных витрин. Таким, каким я запомню его тяжелое движение шумных улиц и железобетонных царств, – блюз вакуумных аллюзий вазопрессиновых снов мэтра двадцатого века, и не хочу читать больше того, что уже есть у меня благодаря его трудам; страшась нарушить хрупкую красоту абсорбированных мною строк, пускай недолговечных и капризных мод, но всепорож-

дающей начало тех мелодией минорных нот предвещающих на каждом шагу апокалипсическую тоску, – во множестве кинолент, рассказанных на свой лад множеством простуженных interprete, настойчиво прокладывающих путь к духовному вырождению и уверяющих в бессмысленности схоластического существования. Пусть даже немного подпорченных алкоголем и нейролептиками, которым улица нашла свое применение; пусть даже инородного вживления в расшатанный мир внутренних ценностей, сращения их с натурой и растопыренными пальцами перед зеркалом: «Неужели это я? Неужели со мной все это? Неужто во мне?»

И так, порою черствый хлеб намного вкуснее свежего, а подгнивший виноград отдает цветами самого дорогого вина.

И я пьянею от давних воспоминаний, будто заговоренный чужими мыслями, чужими делами и посторонними шагами в чужих историях; искусной игрой своих звезд, подмигивающими мне, поднимающимися и всплывающими над бездонным колодцем моего детства.

Может быть, я не читал Поля Брега. Может быть, я не читал Марка Аврелия и мне наплевать на Плутарха. Но я знаю... что настоящая красота ценится так скудно и с запозданием во множество лет, что заставляет плакать даже самых циничных из зевак на телешоу и радиомостах.

И мне так жаль, так жаль вас, мои дорогие, мои драгоценные звезды...

И так приятно, что некоторым из вас были уделены ценные минуты из моей жизни, из жизней, таких, как я...

Но потом, развалившись на диване, в уютной комнате, я передумаю и расставляю по своим местам все мною сказанное. И мне покажется, будто меня спрашивают: «Неужели... неужели все это было игрой вашей фантазии? Неужели все это было задумано и спланировано?»

А я буду отвечать: «Да это правда. Понимаете, ведь главный герой это всего лишь воображение, созданное моей фантазией, и он ограниченный человек. Он путает имена малоизвестных людей с именами прославленных и ставит их в один ряд со звездами мировой величины. Он трогательно забавен своими ошибками, вспоминая философов и историков, нечаянно помещая среди них диетолога...».

– Лучше бы он оставался неграмотным, – добавлю, смущенно, пожимая плечами и разулыбаюсь с недосказанностью в словах.

А потом буду лежать и думать, что вот пришел момент, сделать вид, что мои глаза сухие. Но они и вправду остаются сухими. И так от этого себя чувствуешь странно. Будто украл у себя самого частичку своей же любви.

– И вправду, – согласятся во мне Чарльз Даттон, Стэйси Тревис, Джонатан Линч... те, кого я помню из моего одинокого детства, с сухими зачахшими ветвями, сквозь которые видно черно-синее небо, с рваными клочьями переплетенных облаков, зависших над черной улицей без фонарей,

и плывущих тяжело в безветренном колодце дворов.

Ничто не шевелится. И только вода, с большим трудом, вяло прокладывает себе дорогу, минуя камни и чернозем. Редкими тонкими ручейками наполняет лес тихим шепотом, в котором время от времени, вдруг слышится треск сучьев. Резкий и громкий, взрывающий глухоту и безмолвие стоячего воздуха.

Покажется, будто стрекочут цикады. Но так далеко и так тихо, что потом этого и не вспомнить. Словно во сне, из которого есть только одно спасение – принять факт того, что здесь есть покой, есть умиротворение; все, кроме зеленого ковра, выстлавшего пустующий лес. И здесь не цветут цветы, и не пахнут пряные клены, не роняют желуди величественные дубы, не резвятся белки. Запасаясь к маленькой смерти, по которой наступит новая жизнь, не бегают полевки. Сон, который всплывает обрывками испорченных, дешевых и не оцифрованных кинолент. За пеленой дыма и чашкой кофе, как в кругу закинутых в омут своих напастей и не находящихся отклика страстей алкоголиков на терапевтическом сеансе, приложу «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag» – «Happy birthday» оттиснутыми на поверхности одной из ее сторон к щеке; почувствую тепло и открою вновь окна.

Чтобы подивиться на опустевшую улицу, с тем, дабы разбито отметить свои самые неприятные мысли...

И неужели я один такой?

Неужели такой я один?

Но нет. Ко мне присоединятся братья. Когда слушаешь елейный голос реклам диктующих твою жизнь, это заставляет тебя плевать на асфальт.

И слушать свои слова, прислушиваясь к тому, что ты сказал не так...

Но сегодня, сидя на веранде моего номера, в отеле, я позволю себе немного больше, чем закрыть глаза и отлучиться снами.

С тем чтобы занять ясную голову, на которую я буду принимать кофе, и закупоривать сосуды густым дымом последних в пачке сигарет, отысканных мною из тайника, который я сам устраиваю себе.

Здесь не пахнет ничем, кроме сацумского фарфора и выхлопными газами большого города.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.